

Обзоры, объявления, сообщения

МЫСЛИТЕЛИ XX ВЕКА О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.

Институт философии РАН, 11 декабря 2014 г.

В.Л. ШАРОВА

Судьба каждого мало-мальски значительного исторического события — когда-нибудь стать поводом для юбилейных торжеств, мемориальных акций, публичных мероприятий, официальных речей разной степени искренности. Но как действительно понять и осмыслить то, что находится за этим фасадом? Особенно если повод — дело жизни и смерти, каким неизменно является война, тем более — такого масштаба, как Первая мировая война, столетие со дня начала которой столь широко отмечалось в Европе в 2014 г. Свои ответы на этот вопрос искали участники научной конференции «Мыслители XX в. о Первой мировой войне», состоявшейся в Институте философии РАН 11 декабря 2014 г.

Первая мировая — Великая — война фактически обозначила начало современной эпохи. Она стала сюжетом, долгие годы остававшимся в фокусе внимания множества мыслителей — не только европейских (в том числе русских), для которых она на четыре года стала рутинным «видом из окна», но и их американских коллег. На страницах философских сочинений выстраивались системы критики, но порой и апологетики крупнейшего на тот момент международного конфликта. Иных авторов в ряды этих апологетов записывали — и до сих пор записывают — на достаточно спорных основаниях. Среди этих последних — немецкий философ, социолог, один из основоположников философской антропологии Макс Шелер.

Как отметил в своем докладе старший научный сотрудник Института философии РАН, к.ф.н. **Михаил Хорьков**, смысл многих трактовок теории войны Макса Шелера нередко сводится к тому, что теория эта представляет собой не что иное, как оправдание и даже пропаганду «немецкой войны» с философской точки зрения. В основном критики подобного рода опираются на главную публикацию Шелера на «военную» тему: «Гений войны и немецкая война», опубликованную в 1915 г. Тем интереснее, что в том же году, в начале его, в свет вышел другой текст Шелера, ныне забытый, причем забытый явно незаслуженно. Речь идет об эссе «Война и смерть», которое не попало ни в официальную библиографию философа, ни в полное собрание сочинений, но безусловно представляет немалый интерес хотя бы потому, что последовательно опровергает стереотип, согласно которому Шелер изначально занимал милитаристские позиции, и по-новому расставляет акценты в том, что принято называть философией войны.

Публикация «Войны и смерти» состоялась в альманахе «Zeit-Echo», объединившем на своих страницах деятелей искусств самого разного

толка. Фактически издание представляло собой военный дневник, поучаствовать в создании которого имели возможность как пацифистски настроенные авторы — такие, как, например, изначально стоявшие на антивоенных позициях Пауль Клее и Райнер Мария Рильке — так и, например, Мартин Бубер, бывший в то время чуть ли не шовинистом... Такое разнообразие не случайно: собственно, задача альманаха и состояла в том, чтобы дать возможность деятелям культуры и искусства высказывать свою позицию без оглядки на массовые вкусы и предпочтения. Главный редактор журнала, Фридрих Маркус Хюбнер, прямо говорил о том, что цель журнала — дать высказаться метафизикам — которых в Германии никто не слушал — но метафизикам не в обычном, не в университетском смысле слова. Именно в таком качестве Шелер как философ был приглашен к участию в альманахе.

В чем состоит своеобразие «Войны и смерти»? Прежде всего в том, что в этом тексте нет ни одного прямого указания на обоснование немецкой войны, на ее легитимность, т.е. того, что гораздо более явно присутствует в книге «Немецкая война». Характерно, что Шелер придает не просто метафизический, а религиозный смысл войне: жертва солдат на поле брани — это религиозная жертва, подобная жертве Христа, приходит к выводу философ. Именно в этом смысле она не напрасна: нация сплачивается этой жертвенностью, готовностью к ней. Таким образом, в тексте доминирует понимание жизни как дара, понять и прочувствовать который это можно только во время войны: солдат чувствует, что жизнь ему не принадлежит, она получена в дар, во временное пользование, и высшее предназначение — эту жизнь отдать. Объектом исследования Макса Шелера становится метафизика смерти...

Интересно, что в забытом эссе немецкого философа содержится масса идей, позже использованных и переработанных не только им самим. Очевидно, предложенная Шелером концепция повлияла на таких мыслителей, как Пауль Людвиг Ландсберг, Эдит Штайн, Жан-Люк Марион. Публикация Шелера в «Zeit-Echo» незаслуженно забыта не только с точки зрения того, как европейские философы реагировали на события Первой мировой войны, но и с точки зрения истории феноменологии вообще, — отметил Михаил Хорьков.

Тему отношения Макса Шелера к Первой мировой войне продолжил старший научный сотрудник ИФ РАН, к.ф.н. **Игорь Михайлов**. Отношение это — метафизическое, полагает исследователь; это нечто куда более тонкое и фундаментальное, чем просто рассуждения о политическом смысле противостояния, например, немцев и французов (что периодически Шелеру приписывают). Прочитывается оно в таких работах философа, как, в частности, статья «О смысле страдания».

«Как и все великие вещи, корни того явления, которое мы называем войной, уходят в глубину органической жизни», — пишет Шелер, и спорный характер этого высказывания делает его чуть ли не политически опасным заявлением... Но философ рассуждает о милитаризме и пацифизме не с простых публицистических позиций — его интересует онтологический, сакральный смысл явлений. Если идея вечного мира и

согласия между народами встречается во всех культурах во все времена, то почему же за несколько тысячелетий развития культуры она ни на йоту не приблизилось к осуществлению? И значит ли это, что от этой идеи следует отказаться как от потерпевшей фиаско или и заведомо невыполнимой? Конечно, таких ответов Макс Шелер не дает. Стремясь избежать упрощающего взгляда со стороны биологии или духа, он выстраивает иерархический ряд ценностей — от простых биологических через материальные к более высоким духовным, высшей из которых является, разумеется, ценность религиозного порядка — любовь. Приверженность Шелера католицизму читается здесь достаточно наглядно; собственно, его заботит вопрос — какую роль могла бы играть социология войны для немецких католиков? В годы Великой войны этот вопрос был отнюдь не праздным для немецкого общества, для Германии, не так давно объединенной и неоднородной в конфессиональном отношении...

Именно любовь является фундирующим чувством в онтологическом и социальном смысле, все остальное — искажение этой любви. Одним из проявлений этого искажения является ресентимент, очевидно явивший себя в европейском обществе в годы войны (здесь, конечно, следует сослаться на работу Шелера «Ресентимент в структуре моралей», где его позиция в отношении этого явления сформулирована весьма развернуто). Здесь философ и обращается к романтизму Фридриха Ницше, и опирается в своих рассуждениях на современные ему примеры. Последнее обстоятельство служит большим соблазном для того, чтобы в очередной раз обвинить Шелера в шовинизме, но обвинения эти, очевидно, беспочвенны. Шелер критикует не национальные культуры (допустим, британскую или французскую), но лишь определенные проблематичные пласты этих культур — в его интерпретации, низшие, не способные ухватить и постичь более высокие ценностные пласты культур. Только сейчас Европа родилась как единое культурное пространство — к этому выводу Шелер приходит в годы войны, хотя его этическая концепция, по-видимому, сформировалась уже в 1911 — 1913 гг., отметил в своем докладе Игорь Михайлов.

Как воспринималась война по другую сторону линии фронта? Русские философы, общественные деятели, писатели были не только пристальными наблюдателями, но подчас и участниками военных действий, получавшими опыт драматический, но и неоценимый — для размышлений, выводов, творчества. Заместитель декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.ф.н. **Алексей Козырев** в своем докладе «Русские мыслители о войне. Первые отклики» проанализировал процесс выстраивания нового пласта сознания российской интеллигенции той эпохи на примере целой плеяды философов — Алексея Лосева, Ивана Ильина, Федора Степуна... Степун был в числе тех, кто оказался в окопах: хоть и недолго, но он командовал артиллерийской батареей, а после галицийских боев оказался в госпитале. Ничего возвышенного в войне нет, она повседневна и иррациональна — к такому выводу довольно быстро приходит Степун (описавший свои переживания в книге «Из записок прапорщика-артиллерииста» и переосмысливший их в более поздней работе «Бывшее несбывшееся»). Интересно сравнение, которое Степун делает между

Первой мировой войной и Второй: если первая еще несла в себе какую-то романтику и тем самым принадлежала еще отчасти XIX в., то Вторая мировая была уже полностью порождением XX столетия. Первую мировую философ объясняет с теологических позиций: «...зло либерального 19-го века было, в конце концов, лишь неудачей добра. Сменивший же его 20-й век начался с невероятной по своим размерам удачи зла. Удача эта ничем не объяснима, кроме как качественным перерождением самого понятия зла. Зло XIX века было злом, еще знавшим о своей противоположности добру. Зло же XX века этой противоположности не знает»... Война 1914 г. была преступлением перед богом и людьми, но преступлением человеческим; война 1939 г. стала античеловеческим деянием, делом тех, кто, фактически по Ницше, встал «по ту сторону добра и зла».

Русскими мыслителями война не раз оценивалась как нечто исходящее из глубин души, народной и интеллигентской; война, таким образом, является не чем иным, как проекцией нашего внутреннего самосознания. Квинтэссенцией этих размышлений можно было бы назвать слова, записанные в дневнике писательницей Аделаидой Герцык: «Кажется, что еще немного, и нельзя будет жить дальше... И что-то, что теперь происходит, мы уже пережили в духе, и теперь это лишь объективация наших внутренних мистерий, на которых сгорела наша душа». Аделаида и ее сестра, Евгения Герцык сыграли не последнюю роль в судьбе Ивана Ильина, вынужденного бежать из Германии, когда была объявлена война с Россией, напомнил Козырев. Философ был женат на кузине сестер Герцык, и, удрученный и расстроенный (в суматохе первых военных дней пропала рукопись его диссертационного сочинения о Гегеле) он возвращается в Россию и ждет призыва (отмечая, что «одного знакомого приват-доцента уже взяли» — не Степуна ли?)

Как и Ильин, встречает войну в Берлине Алексей Лосев. Его спешная эвакуация тоже не обходится без потерь, кстати: теряется костюм, теряются конспекты по средневековой схоластике, работы, накопленные за полтора года... Осмысление Лосевым войны достаточно необычно: в его дневниках отсутствует патриотический пафос, который соотносился бы с интонацией его писем того времени: он похвально в них казачьим происхождением, готовностью в любой момент встать под ружье... В этом есть определенная логика: все-таки письма — сигнал вовне, а война на тот момент была для интеллигенции преимущественно объектом внутренних переживаний. Масштаб происшедшего был осмыслен не сразу: «окопное братство» формировалось постепенно (но все же, кстати говоря, быстрее, чем после Второй мировой войны), по мере того, как приходило осознание войны как наднациональной стихии, разрушительной куда более, чем очистительной. Характерно, кстати, что русские интеллектуалы не воспринимали противника как бездуховного: Лосев не переставал любить Вагнера, Волошин писал о лекциях Штайнера... Война не пресекает общения с немецкой культурой, и сама эта культура не воспринималась как бездуховная, заметил Козырев.

О формировании такого уникального явления как «окопный генезис западного экзистенциализма» рассказал главный научный сотрудник

сектора современной западной философии ИФ РАН, д.ф.н. **Виктор Визгин**. Европейская философская традиция экзистенциализма вышла из окопов Первой мировой, полагает исследователь. Она представлена такими именами, как, например, Габриэль Марсель и Карл Ясперс. Говоря о настроениях европейских интеллектуалов накануне противостояния, Марсель высказывает, вероятно, общую позицию: тревога висела и носилась в воздухе, но вера в силу западной цивилизации — просвещенной, демократичной, прогрессивной — сохранялась до последнего момента. Однако Марсель не очарован этой цивилизацией, он осознает ее хрупкость и ненадежность, ее иллюзорный характер: «Иллюзия, которой мы жили накануне катастрофы, позволила мне осуществить начальную стадию моего поиска»... Работа Марселя на посту главы информационной службы Красного Креста заставила его посмотреть на войну если не в прямом смысле из окопов, то в любом случае изнутри: поиски пропавших на фронте людей не оставляют ему возможности быть простым свидетелем происходящей катастрофы. «Информационная карточка перестала быть для меня абстрактным напоминанием о случившемся, это был раздирающий душу призыв, на который я должен был ответить», пишет философ; сведения о пропавших в прямом смысле становятся вопросом жизни и смерти (чаще — увы, последней). Ситуация складывалась, безусловно, экзистенциальная; Марсель, отвращаясь от духа абстракции, переосмысливает свою философию бытия.

Что до Ясперса, то его война потрясла меньше, чем Габриэля Марселя, но и он отмечает, что с началом войны все изменилось, все разом оказалось под угрозой. Экзистенциализм стал ответом культуры на вызовы цивилизации, которая сбросила камуфляж гуманизма, свободы и прогресса.

Интересно, что у России был другой путь становления экзистенциализма — литературный. Если здесь мы хотим проследить путь эволюции мысли, скажем, Николая Бердяева и Льва Шестова, то убедимся: их философия свободы — это русский экзистенциализм, но их учителя — не философы, а писатели, прежде всего Толстой и Достоевский. Русский экзистенциализм вышел не из окопов, а из русской литературы, — резюмировал Визгин.

Профессор МПГУ, д.ф.н. **Татьяна Щедрина** проанализировала интеллектуально-экзистенциальный контекст эпохи через материалы архива Густава Шпета и его окружения. Шпет, подобно многим в то время, столкнулся с необходимостью вывезти свою семью из Германии; интересен тот информационно-дискуссионный фон, на котором разворачивались соответствующие сюжеты. В 1914 г. семья Шпета — Мария Крестовская-Крестовоздвиженская с детьми — жила в Геттингене, но выехать свободно им не удалось: на границе они были взяты под так называемый «охранный арест». Адресаты писем Крестовской-Крестовоздвиженской были весьма различны как по своему положению, так и по умонастроениям: с одной стороны, учитель Шпета Эдмунд Гуссерль, с другой — хозяин квартиры, немецкий учитель по фамилии Хютиг. Поддерживает семью Густава Шпета и профессор Ростокского университета Карл Леман (который, кстати, в итоге и дал рекоменда-

цию об освобождении). Но как реагирует на ситуацию Хютиг? В данном контексте он выступает как «типичный немец», «хороший немец», и поначалу его отношение к войне вполне восторженное. «Мы ведем священную войну, на которую сверху благосклонно взирает божье око... Мы, немцы, очень мирные люди и радуемся, если культура человечества прогрессирует на всем Земном шаре... Но нас следует оставить в мире и не ограничивать наших законных прав. Когда же это происходит, в нашей груди восстает бог — не дикий зверь, дорогая госпожа фон Шпет, как Вы, может быть, хотите сказать... Такой народ, в котором живет такая чистая, великая и сильная воля, непобедим, даже если бы против него поднялся целый мир врагов. Вы это увидите», — пишет Хютиг жене Шпета. Показательно, что к 1916 г. от его былой восторженности не останется и следа: относящийся к войне эпитет, который встречается в его дальнейшей переписке — «пошлейшая»... Впрочем, и это демонстрация настроений общеевропейских — боевой дух к тому времени сходил на нет у всех участников кампании.

Татьяна Щедрина также сослалась на не менее интересную переписку: поэтов Юргиса Балтрушайтиса и Вячеслава Иванова, хронологически относящуюся к лету 1915 г. (страшное лето). «Страшное творится, но страха нет в груди моей, как не должно быть ни в чьей», — пишет Балтрушайтис. Осознание необходимости жертвовать растет не только в философии — в тесно связанной с ней литературе оно ничуть не менее очевидно.

Как стала возможна война на истребление именно тогда, когда человечество, наконец, достигло вершин прогресса? Или, по меньшей мере, находилось на пути к ним... В годы войны ответ на этот вопрос искали как прогрессивно настроенные оптимисты, так и пессимистичные консерваторы. Наиболее полный и выразительный ответ, вероятно, принадлежит человеку, известному широкой публике, скорее, благодаря своим литературным сочинениям. Но его общественно-политическая деятельность и теория известны меньше, чем литературные труды, — отметила в своем докладе ученый секретарь Института философии РАН, к.полит.н. **Александра Яковлева.**

Уже с 1901 г. Г. Уэллс предстает с другой стороны, непривычной читателю. В своем трактате он размышляет о том, как необратимо преобразуется мир и жизнь человека в условиях постоянного научно-технического прогресса в «мире, в котором не стало расстояний». Одна из глав этого трактата посвящена проблеме войны, которую Уэллс рассматривает как обратную сторону прогресса (повторимся, речь идет о 1901 г., а не о 1916-м). Но и за почти полтора десятка лет до того, как война разразилась, Уэллс предполагал, что она неизбежна, политики не готовы к тому, чтобы ее избежать, а «военный класс» отнюдь не стремится повышать уровень своего развития и образования, чтобы сравняться с учителем или врачом. Итак, делал вывод Уэллс, война безнадежно неизбежна — нужно хотя бы извлечь из нее максимум пользы. А максимум этот состоит в том, чтобы сделать эту войну последней из войн.

Более поздние сочинения, такие как «Война против войны, или Меч мира»; «Грядущее: и о том, что будет после войны» и «Международная

катастрофа 1914 года и ее последствия», не сразу были поняты современниками и даже на некоторое время снискали Уэллсу плохую славу: его упрекали в милитаристичности позиции, так, словно бы он писал о том, что война нужна и даже полезна. Ничего подобного Уэллс, конечно, в виду не имел. Напротив, пока силами своих армий правительства воевали от имени наций, писатель критиковал романтическое традиционное представление о мощи государства, нации, которое и толкает народы к войне. Уэллс предлагал представить историю как единый путь эволюции человечества, а не как историю отдельных государств; тем любопытнее, что именно он принимал участие в подготовке документов, позволивших в итоге создать Лигу наций. Эту организацию (самым наглядным образом, пожалуй, иллюстрирующую известное утверждение о том, куда ведут добрые намерения), Уэллс также критиковал ожесточенно: ведь и в ней тоже не было преодолено возвышение наций, государств, а не людей и общества. Знакомый с ситуацией не понаслышке, Уэллс предполагал скорый конец Лиги наций и предполагал, что это лучшее, что могло с ней случиться.

Не раз уже обозначенная нами трагическая эмоциональная синусоида — резкий общенациональный подъем восторга, а потом безнадежный спад разочарования — был весьма характерен не только для сообщества интеллектуалов, но и для «простого народа», отметила в своем докладе студентка ГАУГН **Ирина Щедрина**. «Батюшка, веди нас к победе!» — в этом площадном призыве воплотились настроения очень многих, воспринимавших на первых порах войну как свою, кровную, схватку «за царя и Отечество». Впрочем, на практике это неизбежно и регулярно выливалось в погромы немецких и австрийских магазинов... Неудивительно: ведь сперва даже пацифисты приветствовали ее как «войну за мир», но такая ситуация сохранялась недолго: по мере того, как приближалась линия фронта, радужные ожидания блекли...

Здесь вновь на ум приходят воспоминания Федора Степуна, который имел непосредственную возможность прояснить для себя народные умонастроения. В своих текстах он высказывается вполне однозначно: крестьяне не могли взять в толк, за что воюют. Для них идеальной осмысленной войной мог бы стать крестовый поход, — отмечает Степун. Это было связано и с исторической памятью о русско-турецких войнах, и о недавней русско-японской войне. То, что немцы — христиане, не укладывалось в голове у массы солдат. Но постепенно и к ним приходило осознание бессмысленности геройства. «Быть в такую войну патриотом — глупо» — эти слова из солдатского письма проводят черту между иллюзиями и осознанием реальности, наступившим после 1916 г. Божьей благодати уже никто не видел: все видели лишь глупость властей, а война — чем дальше, тем больше — воспринималась как стихийная разрушительная сила.

О том, как война воспринималась за океаном, далеко от основного театра военных действий, сообщил и.о. заведующего сектором современной западной философии, кандидат философских наук **Игорь Джохадзе** в докладе, посвященном философии американского прагматизма — тем ее аспектам, которые касались войны и ее моральных эквивалентов.

Американский прагматизм развивался в беспокойное время: расцвет его приходится на 1910 – 1940-е гг., так что философы-прагматисты не могли не реагировать и на обе мировые войны, и на череду революций... Военная тема занимает важное место в творчестве Уильяма Джеймса, Джона Дьюи, Джорджа Герберта Мида; интересно, что теории прагматистов, антивоенные по сути, в советской критической традиции оцениваются в негативном ключе: как реакционные и милитаристские. Такой взгляд на вещи опровергает позиция Уильяма Джеймса, который Первую мировую войну не застал, но сделал ряд выводов о моральном аспекте войны вообще (они, безусловно, оказали влияние на авторов более позднего периода). Джеймс был озабочен тем, чтобы найти «моральный эквивалент войны»; «что-нибудь героическое, что имело бы такую же ценность для всех людей без исключения, какую имеет война, но что настолько же согласовалось бы с внутренней жизнью людей, насколько война с ней расходится». В качестве эквивалента Джеймс предлагает альтернативную гражданскую службу – трудовую повинность, но не любую, а включающую в себя долю риска, своеобразную «адреналиновую составляющую», которая, по его мнению, была бы привлекательна для молодежи, но при этом не имела бы разрушительного потенциала...

Джон Дьюи же, в отличие от Джеймса, застал обе войны, и первую из них проанализировал в книге «Немецкая философия и политика», вышедшей в 1915 г. Рассуждения Дьюи о «немецкой» природе войны лежат в плоскости не политики или экономики, но именно философии: с точки зрения американского мыслителя, не нигилизм Ницше, но идеализм Канта, Фихте и Гегеля сделал из немцев милитаристов. Этический формализм, предъявляющий к субъекту требования нравственного закона, как оказалось, очень просто преобразуется в обоснование безусловной лояльности закону и государству. Покорность власти оборачивается «политическим раболепием», как выражается Дьюи; обожествление государства, помноженное на милитаризм и национализм, составляют суть германской политики, а потому победа Германии в войне была бы не только политической, но и этической катастрофой, полагал Дьюи. Первая мировая должна, по крайней мере, стать последней войной в истории человечества и способствовать демократизации Европы, отмечал он. Этот идеализм, конечно, был очень уязвим; итоги Версаля и бессилие Лиги наций к моменту начала Второй мировой войны сделали из Дьюи законченного пацифиста.

Пока философы рассуждали, политики принимали решения; портрет одного из них очертил в своем сообщении старший научный сотрудник сектора современной западной философии ИФ РАН, к.ф.н. **Владимир Старовойтов**. Речь идет о фигуре, далеко не последней в событиях Первой мировой войны: президенте США Вудро Вильсоне. Этот сын пресвитерианского священника во многом унаследовал идеи американского прагматизма, но трактовал их порой весьма своеобразно. По мысли Владимира Старовойтова, Вильсону был свойствен идеализм мессианского толка: президент полагал, что своими действиями он уберет Америку от войны, и следующим глобальным шагом стало бы создание Лиги на-

ций, на которую Вильсон возлагал большие надежды. «Христос не смог полностью осуществить свои цели, — так как у него не было организации», как-то раз заметил он, имея в виду этот беспрецедентный по тем временам наднациональный проект. Но Вильсона подвел человеческий фактор: не имея партнеров в США, он не смог ими обзавестись и в Европе, с политической культурой которой он был знаком недостаточно близко. Ведущие европейские государственные мужи — Ллойд-Джордж, Клемансо, Орландо не нашли с ним общего языка. Ряд человеческих ошибок обернулся для Вильсона ошибками историческими, — сделал вывод Владимир Старовойтов.

Пути американского президента в какой-то момент пересеклись с путями такой заметной величины европейской и мировой философии, как Анри Бергсон. Именно Бергсона французское правительство командировало к Вильсону в составе делегации, на которую были возложены весьма деликатные миссии. Об этом сюжете рассказала ведущий научный сотрудник сектора современной западной философии ИФ РАН, д.ф.н. **Ирина Блауберг**. По ее словам, эта история — показательный пример того, как философ превратился в политика в надежде на то, что философия интуиции покажет свою эффективность на практике для блага Франции (которой, стоит отметить, приходилось в то время весьма непросто). В определенном смысле это сработало: очевидно, Бергсон сыграл немалую роль в том, чтобы США отказались от ранее занятой позиции нейтралитета, и их вмешательство резко повлияло на ход затянувшейся европейской войны.

Что же касается теории, то Бергсон немало размышлял о природе войны; в частности, к этому вопросу он обращается в своих речах, соединяя в них прежние идеи и ряд положений из своей будущей теории. Позже высказанные им положения будут суммированы в книге «Два источника морали и религии», которая выйдет в свет в 1932 г.

Как же философ оценивал войну? Во-первых, — отметила Ирина Блауберг, Бергсон противопоставляет материальную и моральную силу, Германию и ее противников, обвиняя Германию в том, что она милитаризована Пруссией и отбросила идеи, унаследованные от Просвещения. Здесь мы вновь видим дихотомию духовного и механического (что нередко встречается у авторов того времени, рассуждающих о войне). Бергсон доходит до предположения, что Германии было лучше вовсе не объединяться: теперь же ею правит прусский дух механизации, направлявшийся в свое время злым гением канцлера Бисмарка... Идея о грубой силе стала идеологией в Германии, пишет Бергсон; человечество должно восстать против нового варварства, противопоставить механизации — спиритуализацию, направить жизнь и силу творчества против готовых материальных вещей. Если Германия стала современным воплощением варварства, то ее противники должны стоять на страже цивилизации, пусть и ценой войны, — полагал Бергсон. Стоит отметить, что ряд современников философа (в частности, Жорж Политцер) подвергли эту позицию критике; впрочем, позже Бергсон сам отказался от этих взглядов, уточняя, что тяготение к войне — свойство закрытого общества вообще, а

не отдельного государства в частности (об этом он говорил в работе «Два источника морали и религии»).

Великая война стала колоссальным потрясением для европейских умов, для коллективного сознания европейцев, но в первую очередь — для интеллигенции, кризис которой в заключение (вкратце и достаточно поверхностно) был проанализирован в моем докладе. Кризис этот имел широкомасштабный, социокультурный характер, о чем, например, писал в конце 1915 г. русский философ Лев Лопатин. «В свирепствующей теперь небывалой исторической буре не только реками льется кровь, не только крушатся государства... не только гибнут и восстают народы, — происходит и нечто другое... Крушатся старые идеалы, блекнут прежние надежды и настойчивые ожидания... А главное, непоправимо и глубоко колеблется самая наша вера в современную культуру: из-за ее устоев вдруг выглянуло на нас такое страшное звериное лицо, что мы невольно отвернулись от него с недоумением. И поднимается неотступный вопрос: да что же такое, в самом деле, эта культура? Какая ее материальная, даже просто жизненная ценность?», — задается вопросом Лопатин и, мы уверены, не он один... Далеко не все европейские интеллектуалы сразу заняли последовательную антивоенную позицию; первоначальный шок от войны был таков, а предшествующие ему надежды столь радужны, что трудно было удержаться от соблазна хотя бы отчасти оправдать происходящее. Показательны в этом смысле рассуждения Семена Франка (мы имеем в виду его работу «О поисках смысла войны»). Франк был убежден, что мировая война была навязана русскому государству извне, против его воли. Не то Германия, рассуждал философ: «В Германии общественное мнение десятилетиями упорно и систематически воспитывалось в идее войны, в понимании необходимости и национальной важности войны... Идея войны была идеей привычной, понятной, популярной, укорененной в самих основах мирозерцания». Для русского же сознания война является чем-то противоестественным, — полагал Франк, — и все же неожиданно она была воспринята самой стихией национальной души как необходимое, нормальное, страшно важное и бесспорное по своей правомерности дело. Как можно идейно оправдать войну?

Никак. Таким образом на этот вопрос отвечал французский философ Ален, охарактеризовавший войну как факт нравственного и интеллектуального падения человека и народов. На войне человек заботится о том, чтобы ни о чем не думать; в эту ловушку попадают все войны, все революции, — говорит этот последователь европейского Просвещения, наследник картезианской традиции.

Не сработало и оправдание войны с политико-прагматической точки зрения: объяснение ее как столкновения «либеральной демократии и международного права с авторитарной Германией». Так мы можем объяснить кризис британской интеллигенции, которая, отринув наследие обветшавшего викторианства, сперва по большей части войну поддержала (тех, кто стоял на позициях пацифизма с самого начала, было не так много — можно вспомнить Бертрана Рассела, который с ужасом и отвращением заметил, что массы «обыкновенных мужчин и женщин

впали в восторг от того, что впереди их ждала война»). Эдвардианцы в патриотическом порыве отправились на войну — и пришли в ужас от несправедливости и безнадежности происходящей бойни. Это во многом характеризует короткий процесс эволюции умонастроений европейских интеллектуалов в целом. Европейские интеллектуалы, сделавшие делом своей жизни производство смыслов, оказались беспомощными перед бессмысленностью колоссальных явлений новой реальности.

«Мы проиграли войну, — писал Томас Манн в романе “Доктор Фаустус”, — но ведь это означает нечто большее, чем просто проигранная кампания, это ведь на самом деле значит, что пропали мы, пропали наше дело и наша душа, наша вера и наша история». Война была проиграна всеми сторонами: Европа оказалась перед лицом утеранных иллюзий и надежд, распада системы ценностей. Как жить дальше, во что верить, что ожидает человечество в будущем? Эти вопросы вышли на передний план и в Европе, и во всем мире. Кризис интеллигенции обернулся своей изнанкой, породив огромное количество новых идей, социальных теорий, философских концепций, направлений в литературе и искусстве. Источником его был чудовищен, последствия — впечатляющи.

Война покончила с миром, но на пороге был новый мир, осмыслить который только лишь предстояло, — резюмировали участники конференции.